

Содержание

«УЕЗЖАЮ. — УЕЗЖАЕШЬ.
НЕ ВЕРНЕШЬСЯ. — НЕ ВЕРНУСЬ...»

Саша Филбарт

5

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Роман

29

ДНИ ТУРБИНЫХ

Пьеса

347

БЕГ

Пьеса

434

«УЕЗЖАЮ. — УЕЗЖАЕШЬ.
НЕ ВЕРНЕШЬСЯ. — НЕ ВЕРНУСЬ...»

18 апреля 1930 года в квартире русского писателя и драматурга, классика мировой литературы Михаила Булгакова раздался звонок телефона: *«Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин».*

«Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха, — писала в своих воспоминаниях вторая жена Булгакова, Любовь Белозерская. — К телефону подошла я и позвала М. А., а сама занялась домашними делами. М. А. взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от телефона наушники). На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и называл себя в третьем лице. «Сталин получил, Сталин прочел...».

— Что мы вам — очень надоели? — неожиданно поинтересовался «отец народов». — Может быть, вы хотите уехать за границу?

Незадолго до знаменательного события Михаил Афанасьевич и впрямь размышлял об отъезде. *«Все мои пьесы, — сообщал Булгаков в письме к брату Николаю в Париж, — запрещены к представлению в СССР, и беллетристической ни одной строки моей не напечатают. В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР заявление, в котором прошу меня с женой моей выпустить за границу на любой срок».*

С момента постановки в 1926 году на сцене МХАТа «Дней Турбиных», имевших, к слову, оглушительный успех, прошло несколько лет. Пьесы Михаила Булгакова не прини-

мались театрами, а если и принимались — репетиции шли так вязко, так бесконечно, что делалось совершенно очевидно: свет они не увидят.

И сложно себе вообразить, сколько сочувственного небрежения умещалось в этих кратких, а подчас и длинно-вишневых, даже, можно сказать, почти дружественных отказах. Если задуматься, карьера Булгакова-драматурга вообще едва ли не трагичнее его писательской судьбы. Пьесы, если не брать в расчет владикавказский период, под его фамилией едва успевали дойти до сцены, как тут же беспощадно подвергались тщательнейшему изучению, с тем чтобы после быть забракованными. Слишком уж смелым казался этот невысокого роста худощавый человек с нездешним каким-то, тихим, но непоколебимым достоинством. С такой простотой, с такой глубиной и грустью выворачивал он наизнанку то, что, казалось, лучше было бы спрятать подальше, убрать в темный угол до *лучших времен*, что его произведений боялись, а потому ругали их, беспощадно втоптывали в грязь, — будто единственной целью критикующих было доказать Булгакову — он бездарен. Виданное ли дело — с таким упоением, с непозволительной нежной грустью рассказывать о людях, которые должны были, по мнению правительства, быть уничтожены как класс!

Впрочем, пьесой, посвященной осколкам бывшей, до революционной жизни, Сталин неожиданно остался очень доволен: *«Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы...»* А вот следующее произведение — «Бег» — было им отвергнуто. В этой пьесе он увидел попытку оправдать белую эмиграцию и назвал ее «антисоветским явлением». После этого в марте 1929 года было принято решение об изъятии всех пьес Булгакова из репертуара советских театров. Вдогонку в марте 1930 года была отложена на неопределенный срок и новая пьеса «Кабала святош», планировавшаяся для МХАТа. Впоследствии репетиции — изнурительные, полные бесконечных неразрешимых споров Михаила Булгакова и Константина Станиславского — тянулись целых пять лет. Спектакль, увидевший свет в 1935 году, оставил на душе

у литератора тягостное, неприятное впечатление. Но прежде наступила еще более тяжкая, тихая пора.

Безвестность, вынужденное молчание повергали Булгакова в беспроглядную тоску. Лишенный возможности писать, он будто бы делался меньше ростом, старел, не находил себе места. И в конце концов в марте 1930 года написал письмо Правительству СССР с просьбой покинуть страну:

«Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо...»

«Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Если же меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера».

Мог ли он предположить, что отчаянная его просьба, направленная по большому счету в никуда, получит такой неожиданный в какой-то степени судьбоносный отклик?

— А может быть, правда — вы проситесь за границу? — повторил Сталин.

Булгаков молчал. Он не знал, что ответить. Готового решения у писателя не было. Молчал на другом конце провода и его собеседник. Наконец Михаил Афанасьевич произнес:

— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне Родины. И мне кажется, что не может.

Сталин остался удовлетворен ответом. Дальше диалог развивался стремительно.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.

— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.

— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.

10 мая 1930 года Булгаков оказался принят на службу во МХАТ в качестве режиссера-ассистента, а еще через два года возобновлены были показы «Дней Турбиных».

Так о чем же думал, что чувствовал писатель, даже не в момент судьбоносного разговора — прежде, в период затянувшегося затишья, когда размышлял о том, чтобы покинуть свою Родину, как сделали это герои его, так и не воплощенного при жизни писателя на сцене, «Бега». Могли всерьез вообразить свою жизнь за пределами страны? И главное — за пределами родного языка, горячо любимых, не раз описанных в книгах мест, ощущений, воспоминаний, в конце концов?

Основные его произведения, посвященные эмиграции (или отказу от нее): «Бег», «Дни Турбиных», «Белая гвардия», были задуманы многим раньше, чем Булгаков сам задумался о побеге. Но все-таки было и в них, и в собственных тоскливых, отчаянных мыслях писателя, что-то неуловимо общее. Вероятнее всего, — тоска по иной, не сложившейся или навсегда утраченной жизни в родных местах. Ностальгия, способная возникнуть даже без факта отъезда.

Проза Булгакова вообще глубоко автобиографична. В свои тексты литератор будто бы косвенно, незаметно поместил и собственную судьбу. Не случайно, драматическая история Турбиных разворачивается именно в Киеве.

Сам Булгаков родился в этом городе на Воздвиженской улице, а позднее семья перебралась в дом 13 на Андреевском спуске. Именно этот незамысловатый, скромный особнячок, теперь густо увитый плющом, так что летом или ранней осенью почти не разглядеть окон, и стал потом литературным пристанищем булгаковских Турбиных. Наделил классик вымышленное, но все-таки узнаваемое строение (в романе и пьесе оно значится по адресу: Алексеевский спуск, 13) не только внешностью собственного родного дома, но и атмосферой, милыми сердцу вещами: *«...мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шпильками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, лежащим на берегу шел-*

кового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду scarлатины, бронзовая лампа под абажуром...»

Или: «Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади "Саардамский Плотник", часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем».

Родные стены, дом, родные — все это имело для писателя огромное, непреходящее, едва ли не первостепенное значение в жизни. Воспитанный в профессорской, довольно известной киевской семье, Булгаков провел счастливое детство: окруженный любовью и заботой родителей, он, кроме того, погружен был в атмосферу музыкальных вечеров, совместных походов в театр, густо пахнувших выпечкой и хвоей — уютных домашних празднеств. И все это, что потом так печально, так безвозвратно кануло в водовороте истории, судьбы целого класса людей, делало тогда, до революции, жизнь легкой, бестревожной, упоительно прекрасной. Трудно вообразить, ведь Михаил Афанасьевич в юности даже мечтал быть артистом: играл в домашних спектаклях, сочинял небольшие драматургические произведения. И все это, все — навсегда сохранилось в его сердце, как символ безусловной радости, счастья, гармонии, при которых все казалось возможным. Позже, вероятно, именно эта, идущая из юношества, нереализованная страсть к театру, желание быть на сцене и воплотилась в его болезненной привязанности к МХАТу — его главной любви и боли...

Так или иначе, именно семья сформировала и образ мышления Булгакова, и его трепетную, несмотря на выбранную профессию врача, натуру и оставила в сердце на всю жизнь сладкий, но печальный след. В образах героев «Белой гвардии» (а позднее и «Дней Турбиных», несмотря на многочисленные редакции) он увековечил портреты своих

близких. Образы дома, братьев, сестер, мамы, отца проходят через всю булгаковскую прозу как символ, затертое от времени изображение навсегда утраченного счастья.

Булгаков окончательно покинул дом на Андреевском спуске в 1919 году. За год до этого в судьбу его семьи властно и безжалостно вмешалась гражданская война, разметала по свету близких, бросила пустовать некогда шумный, полный тепла и света дом. Впрочем, глубокий след в душе Михаила Афанасьевича оставило не только расставание с родными. Довелось ему стать свидетелем чудовищных кровопролитий — почти двадцать переворотов пережил город. В очерке «Киев-город» Булгаков писал: *«По счету киевлян у них было 18 переворотов, некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил»*.

Размеренная, привычная жизнь исчезла. Город пришли защищать, как сказано будет позднее в «Белой гвардии», «четырнадцать офицеров, три юнкера, один кадет и один актер из Театра миниатюр».

Так свидетелем чего же довелось стать будущему классику? Начала новой эры? Смертоносного кровопролития? Кто-то сказал: электрическая лампа перед тем, как перегореть, дает ослепительную вспышку. Вот при такой прощальной «вспышке» исчезающей эпохи элитарной культуры присутствовал двадцатисемилетний врач, открывший частную практику на Андреевском спуске.

Именно эти события двух кровавых, темных, полных вязкой неопределенности киевских лет, так поразившие Булгакова, оставившие на душе его несмываемую печать, как известно, завязали основные линии его собственного искусства, его художественного сознания. Первые итоги пережитого были осмыслены позднее в «Белой гвардии» и заново пересмотрены, прочувствованы в «Днях Турбиных» — совершенно в конечном итоге ином произведении, которое получилось путем изнурительной работы вместе с мхатовскими студийцами в 1925-1926 годах.

Как медика Булгакова мобилизовали петлюровцы, затем белогвардейцы — этот бесчисленный калейдоскоп мобилизаций, режимов, обстоятельств описан им будто бы с легкой иронией в рассказе «Необыкновенные приключения доктора». Неназванный герой — медик, прежде чем покинуть захлебывающуюся в крови и безумии страну, ведет дневник, где саркастично, тонко, с какими-то даже чеховскими нотками, жалуется на регулярную мобилизацию то одними людьми, то другими. И готовый наконец разразиться гомерическим хохотом, читатель спотыкается вдруг о финальное — страшное, полное очень понятного бессильного отчаяния и теперь: «Проклятие войнам отныне и вовеки!».

Доктору, если верить в благой исход, удалось бежать. Точно так же, как выпало счастье спастись и персонажам «Бега»: нежной Серафиме, трогательному в своем никому уж теперь не нужном благородстве Сергею Голубкову. Эти двое в череде прочих покинули родные берега, чтобы начать маяться едва ли не сразу после отбытия. Может быть, именно на этой горькой скуке, обиде за поломанную судьбу (только вот на кого? *На кого?*) и зародилось меж ними осторожное чувство. Чтобы не было так одиноко. Ведь переезд, даже запланированный, что уж говорить о внезапном, вынужденном, — всегда про одиночество, потерянность и в иной культуре, и просто там, где все другое, дру-го-е. Не упоминая уж о том, что вынуждены были бежать из России, да и со всех территорий будущей Страны Советов, люди совершенно определенного склада ума, характера, образа мыслей. Воспитанные если не в роскоши, так уж точно в комфорте и, главное, достоинстве, которые разом у них были отобраны, разломаны, вытоптаны тяжелыми сапогами революции и всего, что за ней последовало, они уезжали, не только проиграв войну, — они бежали, проиграв собственную жизнь. Обычные люди, прежде всего желавшие жить так, как они жили. Вот и все их желания.

Остались бы они в своих домах, дозволь того обстоятельства? Безусловно. Но обстоятельства не позволили,

вмиг превратив их, еще вчера благополучных, счастливых, в скитальцев, до кого, по большому счету, никому не было дела.

Около пятнадцати лет назад мне довелось побывать на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа неподалеку от Парижа — там нашли свое последнее пристанище бывшие белые офицеры и их семьи. Вынужденные бежать из родной страны без ничего, раздавленные, уничтоженные морально, эти прекрасно образованные, мыслящие люди должны были до конца жизни работать таксистами, официантами, лакеями. Можно ли вообразить положение более унижительное? И вероятно ли не потерять при этом чувство собственного достоинства?

Уже на выходе, у самой ограды, я столкнулась с двумя женщинами, одна из них, совсем уже старуха, едва волочившая ноги, отчего-то привлекла мое внимание.

Чем же?

Была в ней какая-то незнакомая и неясная нам, современным людям, стать, величие, если хотите, так что нельзя было не угадать во всем ее существе принадлежность к тому навсегда стертому, прошедшему безвозвратно миру, осколком которого были и Турбины, и, пожалуй, сам Булгаков.

Отчего уезжали те — другие? Отчего уезжают сейчас? Может быть, чтобы не видеть «красной короны» — образа из едва ли не самого жуткого, наводящего оцепенение короткого рассказа Булгакова о двух братьях, где один становится свидетелем последних минут жизни другого и теряет рассудок, увидав вместо родного лица кровавое месиво, показавшееся ему издали красной царской шапкой с острыми краями на концах.

Сам Булгаков провел годы гражданской войны во Владикавказе, куда в 1919 году отправлен был, мобилизованный Белой армией в качестве медика.

Именно в этот период, с 1919-го по 1921-й, родились у него, как последствия всего увиденного, и в Киеве, и позже, рассказы «Красная корона», «Китайская история» и

другие. На пути к месту своей службы писатель заразился тифом. Когда он был в бреду, балансируя на грани жизни и смерти, являлись ему картины, которые с трудом можно было принять за реальность: повешенные на дорожных столбах рабочие и красноармейцы, уничтожение белыми мятежных горных аулов. Но все это было правдой, стократ усиленной воспаленным сознанием.

Позже, все еще пребывая во Владикавказе, Булгаков, как видно, до того потрясенный увиденным, неспособный пережить это, как всякий одаренный человек, внутри себя, все-рез принялся за писательство. Здесь же была начата «Белая гвардия», об этом свидетельствует письмо литератора своему двоюродному брату Константину: *«Я упорно работаю. Пишу роман, единственная за все это время продуманная вещь. Но печаль опять: ведь это индивидуальное творчество, а сейчас идет совсем другое»*.

Родился масштабный, полновесный, серьезный роман из короткой пьески — «Братья Турбины». Тогда, еще задолго до встречи со своей трагической любовью, Московским художественным театром, Михаил Афанасьевич был, можно сказать, востребованным драматургом. В местном владикавказском театре за краткий период были поставлены четыре из пяти пьес («Самооборона», «Братья Турбины», «Глиняные женихи», «Парижские коммунары», «Сыновья муллы»). Каждое произведение, а после и спектакли, имели по местным меркам невероятный успех.

«В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла. В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыфы и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, — после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, — кричали: — Ва! Подлец! Так ему и надо! И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: "Автора!". За кулисами пожимали руки. — Пирикрасная пьеса! И приглашали в аул...» — писал Михаил Булгаков.

Однако позже, в автобиографии, составленной в октябре 1924 года, Булгаков вспомнит опыт театральной работы во Владикавказе совсем не лестно и очень коротко: *«Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впо-*

следствии в Москве, в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось».

Вообще пребывание его вдали от Киева, Москвы — со стороны легко можно назвать удачным с точки зрения писательской карьеры. В своей автобиографии Михаил Афанасьевич писал: *«В 1920 году в городе Владикавказе служил в подотделе искусств, сочинял первые пьесы, работал в качестве лектора при областном театре, начинал играть на сцене, участвовал в создании театрального факультета местного художественного института».* Казалось бы, кто, едва отказавшись от прежней своей профессии, влетает в другую, новую, так стремительно: с публикациями, постановками, едва начатым серьезным романом?

Самого же Булгакова, впрочем, этот успех не удовлетворял. Да что там — вовсе не казался успехом.

Писатель пребывал в мрачном расположении духа, будто бы тогда уже понимая, предчувствуя, что ступает на путь, полный ухабов, острых по краям камней, о которые потом рано или поздно (но неизбежно), падая, придется непременно и преобильно удариться. Мучила его и невозможность, как ему представлялось, сказать все, что так хотелось. В реальности, кажется, дело было в неспособности его, начинающего писателя, полностью вынести, применить свое дарование. То, что жило в нем, множилось, росло с каждым днем, проявлялось на бумаге осторожно, неровно, как возникает с первой оттепелью тонкий несмелый ручеек, чтобы после обернуться полноводной мощной рекой. В письмах к сестрам, к Константину Булгакову он в отчаянии писал: *«Рвань все: и "Турбины", и "Женихи", и эта пьеса. Все делаю наспех. Все. В душе моей печаль... С одной стороны, они шли с боем четыре раза, а с другой стороны — слабовато. Это не драма, а эпизод... Они чушь... Все эти пьесы... Все это хлам...».*

В конце концов Михаил Афанасьевич и вовсе уничтожил все пьесы. Те, рукописи, что были при нем, он сжег, та же судьба ожидала и бумаги, оставшиеся в Киеве. *«На случай, если я уеду далеко надолго, прошу тебя о следующем: в Киеве у меня остались кое-какие рукописи... Выпиши из Киева эти рукописи, сосредоточив их в своих руках, и вместе с "Самообороной" и "Турбинами" в печку...»,* — просил он сестру. Так что тек-

сты этих произведений сейчас прочитать невозможно. Сохранился лишь оригинал «Сыновей Муллы».

Последнее, к слову, вполне символично. Ведь именно это произведение позволило в последствии Булгакову покинуть Владикавказ. Авторские отчисления за успешную постановку были истрачены на то, чтобы сняться с места и отправиться в долгий путь, оканчившийся в Москве, в Художественном театре.

* * *

Когда началась его любовь-мучение, взаимная и вместе с тем совершенно безнадежная, с МХАТом? Тогда, во второй половине 1920-х годов на заре триумфальной постановки «Дней Турбиных» или, может быть, многим раньше?

Вообразите себе киевский театр начала XX века. Пока в Москве зарождался, расцветал, создавал студии, переживал кризисы и вновь восставал как птица Феникс из пепла новый, никому прежде незнакомый игровой театр, Киев оставался оплотом провинциального консерватизма. Здесь процветал, что называется, актерский театр: бенефисы определяли репертуар, премьеры шли неизменной чередой — каждую пятницу, в антрактах в фойе играл разнаряженный оркестр, перешептывались в антрактах густо напудренные дамы, строго посматривали через пенсне мужчины в отутюженных сорочках под фраками. Впрочем, доходили и до местных невероятные новости из Москвы — о загадочном *новом* театре в Камергерском переулке. Создатели его, страшно сказать, не только выпускали всего по четыре, а то и по три новых спектакля за сезон, но и упразднили систему бенефисов, запретили зрителям аплодировать во время представления. Не говоря уж о загадочной системе актерской работы, которая сместила фокус с исполнителей на действие, — решительно непонятной провинциальному обществу. Так что, когда в мае 1912 года в Киеве было объявлено о гастролях Московского художественного театра, наметился настоящий аншлаг. Не столько, разумеется, из любви к искусству, сколько из чистого любопытства — кому не хотелось взглянуть на отчаянных новаторов-москвичей. В интервью корреспонденту «Киевской мысли» Владимир

Немирович-Данченко расскажет, что театр привез декорации на двадцати трех платформах и вагонах. Неслыханно! Очередь за билетами тянулась через несколько улиц.

Успех, однако, был средним, если не сказать больше. Как часто это случается — публика просто не поняла того, о чем говорили, что показывали эти странные люди. До наших дней сохранилось письмо неизвестного киевлянина, направленное во МХАТ, Константину Станиславскому. Он, один из немногих влюбившийся в новый театр, а именно в постановку «Вишневый сад», был решительно поражен прохладой, с какой зритель встретил москвичей. Вот что он писал: *«Сначала я думал, что публика так напугана молвой о строгой дисциплине, практикуемой Вашим театром. Но потом увидел, что это не так. И если бы вы посмотрели на эти открытые жилеты, бараны глаза, упитанные дамские тела, Вы, вероятно, почувствовали бы нечто неприятное при мысли, какую публику Вы кормите Вашим бисером»*. Бисером, впрочем, «кормили» не зря — ведь там, в разочарованной толпе, среди скучающих насурьмленных лиц было и еще одно — внимательное, сероглазое, принадлежавшее студенту медицинского факультета Мише Булгакову.

Была ли эта любовь с первого взгляда? Нам, живущим много позже, остается об этом только догадываться. Удивительным образом провинциальный театр во всей его одновременно напыщенности и непритязательности сохранился, обернувшись неожиданным многоголосием, стильными, тонкими, обжигающими деталями, в драматургическом творчестве Михаила Булгакова до самого конца. Ведь именно в этом, в потрепанном от времени бархатном красном занавесе, в утомленных бесконечными третьесортными постановками артистах и оркестрантах, даже в пошлости, видел он удивительным образом саму суть театра — его поэтичность, тайну, предчувствие волшебства. Так, с восторженной благодарностью, расширив глаза, смотрит на сцену ребенок, которому неведомы пока ни тонкости лицедейского искусства, ни качество сценографии, ни точность композиции. *«Он находил своеобразную поэзию именно в этой застывшей обветшалости»*, писал о Булгакове его современник, драматург, писатель Сергей Ермолинский. И был прав. О, как же он был прав!

«Отлично, когда занавес не раздвигается, а поднимается вверх, а на занавесе написаны порхающие купидоны. А то сейчас и вовсе без занавеса играют», бросал сам Булгаков. Он, современный, блестяще образованный человек, обладатель трепетной души и острого изобретательного ума, казалось бы, меньше других должен был быть очарован безвкусным провинциальным консерватизмом. Однако, если разобраться, усматривал в нем то, чего не видели другие: напоминание, картинку, будто бы застывший фотографический снимок, случайно попавший в руки спустя много лет, прошлой, ушедшей жизни, детства, юности, родительского дома.

Именно этот театр, так небрежно забытый, оставленный за порогом новаторами, Мейерхольдом, Станиславским, позже Вахтанговым и другими, для Михаила Афанасьевича всегда — и в молодости, и в особенности позже, когда жизнь переменялась, *переломилась*, — был если уж не оплотом стабильности, так точно островком безусловной любви-воспоминания по давно минувшим и невозвратимым годам. Пока прочие, не только режиссеры, но и художники, литераторы судорожно, стремясь осмыслить новую, так безжалостно наступившую реальность, искали иные формы, пытались угнаться за несущимся галопом временем, Булгаков, напротив, будто бы предпочел замедлиться. Оставался преданным традиционному театру и вместе с ним — традиционным ценностям. И эта вот отчаянная смелость не ринуться вперед, а ухватиться за уходящее и держаться за него, как за хлипкую веточку, она и дала ему возможность создать, выдумать, *вычувствовать* ту самую тревожную и печальную ноту, грустный лейтмотив, звучащий то едва слышно, то все громче, взрываясь вдруг отчаянным крещендо, и в его пьесах, и в особенности — в романе «Белая гвардия». В последнем, к слову, читателю будто бы дозволяется не только наблюдать за историей несчастливой семьи (хотя какую семью тех лет можно было бы назвать счастливой), но стать свидетелем событий, их участником — ощутить себя на одной из киевских улиц среди многочисленных беженцев с растерянными, изуродованными бесконечным страхом лицами.

С этим — консервативным, вовсе чуждым мхатовцам взглядом на сценическое искусство и драматургию, он и

возник на пороге театра в Камергерском переулке в апреле 1925-го года.

Явление Булгакова было вовсе не случайным.

Они оба — театр и будущий его автор — находились в то время уж если не на грани катастрофы, так в невероятном творческом раздразе. Михаил Афанасьевич стремился писать, и не только для театра, но мало понимал, как и где приложить свое дарование, МХАТ же вовсе был на грани закрытия. Разбившись на несколько студий, он, казалось, доживал свои последние месяцы — в коллективе царил хаос и непонимание, взгляды у старшего и юного поколения художников на искусство расходились, время словно замедлилось или остановилось вовсе. В отчаянии Константин Станиславский почти на два года уехал с гастролями по Европе и Америке, откуда писал Немировичу-Данченко: *«Надо привыкнуть к мысли, что Художественного театра больше нет. Вы, кажется, поняли это раньше меня, я же все эти годы льстил себя надеждой и спасал трухлявые остатки. Во время путешествия все и все выяснилось с полной точностью и определенностью. Ни у кого и никакой мысли, идеи, большой цели — нет. А без этого не может существовать идейное дело»*. Так что встреча Булгакова и театра состоялась как нельзя вовремя — друг в друге они обрели то, что так искали.

Вырвавшись в 1921-м из Владикавказа покорять Москву, первые два года Михаил Афанасьевич будто бы прошупывал почву: сочинял бесконечные фельетоны для «Гудка», берлинской газеты «Накануне», издал свою первую (и, заметьте, последнюю прижизненную) книгу в Советской России («Дьяволиада», 1925). Но главное, главное — вел непрерывную работу над романом «Белая гвардия». Записки, о каких упоминал в письмах к брату из провинции, показались ему вовсе ни к чему не годными, так что он начал произведение заново. И уже в 1924 году, когда история была наконец окончена, отдал ее в журнал «Россия». Текст напечатали. Правда, не целиком. Но и этого было достаточно, чтобы Булгаковым заинтересовались во МХАТе.

Театровед и завлит Художественного театра Павел Марков, режиссеры Второй студии Судаков и Вершилов обратились к малоизвестному автору с тем, чтобы он написал для них инсценировку собственного романа. Михаил Булгаков

не раздумывая согласился. 26 мая 1925 года, едва познакомившись, Вершилов пишет Булгакову о будущей пьесе как о решенном деле: *«Как обстоят наши дела с пьесой, с "Белой гвардией"? Я до сих пор нахожусь под обаянием Вашего романа. Жажду работать Ваши вещи. По моим расчетам, первый акт "нашей" пьесы уже закончен»*.

Закипела совместная работа, которая, если судить по многочисленным редакциям будущих «Дней Турбиных», была в равной степени полна для Булгакова как радостью, так и... раздражением. Мхатовцы видели настоящий театр одним, Булгаков же стремился донести для этих почти незнакомых еще людей свое понимание сцены. Окончательная версия свидетельствует отнюдь не о победе Михаила Афанасьевича. Впрочем, после, когда основные репетиции были окончены и состоялся генеральный прогон спектакля, произведение еще раз подверглось значительным правкам. И были они вовсе не так безобидны, как предыдущие. На сей раз в игру вступили репертуарные органы, державшие своевольный МХАТ под неустанным контролем. Пьесу раскритиковали, потребовали изменений или, того хуже, — полностью переписать готовое уже произведение, что предполагало перенос спектакля на будущий сезон.

И вот здесь проявился вдруг сквозь внешнюю интеллигентность, даже скромность и вечную будто бы растерянность стальной булгаковский характер. Удивительно, с какой невообразимой, отчаянной смелостью (смелостью смертника, если хотите) Михаил Афанасьевич поставил на кон свое писательское, драматургическое будущее. Он наотрез отказался писать инсценировку с чистого листа, согласился внести необходимые правки с тем условием, что спектакль выйдет в означенные сроки. В противном случае, писал Булгаков Василию Лужскому, одному из основателей Художественного театра, *«если эти условия неприемлемы для Театра, я позволю себе попросить разрешение считать отрицательный ответ за знак, что пьеса свободна»*.

Этот ультиматум, балансировавший на грани жизни и смерти — автора театра, неожиданно подействовал. После экстренного собрания мхатовского руководства было решено фактически принять условия Булгакова. Разумеется, с поправками.

Так что, когда в октябре 1926 года состоялась премьера, первоначальный вариант угадывался в ней лишь отчасти — пьеса обрела необходимые идеологические контуры. За сценой в финале будто бы чуть громче, чем стоило бы, звучал победный «Интернационал», князь Мышлаевский выбирал присоединиться к новой власти, прочие безропотно подчинялись обстоятельствам. И тем не менее драма, родившаяся из масштабного романа, решительно новое, но не менее от этого глубокое, яркое произведение, во многом определила судьбу МХАТа, помогла совершить ей крутой вираж, оставить театр в живых. Не менее, впрочем, повлияла эта работа и на творческий путь Михаила Булгакова. Правда — совсем иначе.

Спектакль имел феноменальный, оглушительный успех. Прежде подобное будоражащее впечатление на публику произвела только постановка «На дне» Горького — тогда представление окончилось демонстрацией и арестами. В случае же с булгаковским произведением дело ограничилось семью вызовами карет «Скорой помощи», истериками в зале, громкими рыданиями, в конце концов — сердечными приступами. Василий Лужский без лишних эмоций запишет в дневник: *«Вечером на премьере "Турбиных" все спокойно... Полный сбор в театре. По теперешним временам публика изысканная, чопорная. Успех очень большой...»*

Сам Михаил Булгаков писал в одном из писем о премьере так: *«От Тверской до Театра, стояли мужские фигуры и бормотали механически: "Нет ли лишнего билетика?" То же было и со стороны Дмитровки. В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Когда возбужденные до предела петлюровцы погнали Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера, и этим мгновенно привел в себя. На кругу стало просто, появилось пианино, и мальчик баритон запел эпиталаму».*

Пришлась по душе постановка и Иосифу Сталину. Удивительно, но вождь не только при любой возможности отстаивал и пьесу, и спектакль, да что там — саму личность Михаила Булгакова, но и посмотрел представление более двадцати раз. Хмелеву, игравшему Турбина, Сталин говорил: «Мне ваши усики даже снятся». Можете себе вообразить, что за произведение должно было состояться на сцене МХАТа, чтобы иметь такое, высшее признание?!

Но это будет позже, а пока 5 октября 1926-го года Михаил Булгаков стоит за кулисами, решив не выходить на «вызов», то есть на поклон, вовсе по молчаливой просьбе Станиславского, обратив к сцене свое бледное, нервное лицо, и чувствует, как начинается иная жизнь. Жизнь, к которой так стремилось его сердце, его трепетная душа. Затемнение. Пауза. Звуки оваций.

* * *

Потом, потом будут обыски, унижительное изъятие личных записей и рукописей неопубликованных еще произведений, включая «Собачье сердце», остервенелая критика. Можете себе вообразить, за несколько лет вынужденного молчания, попыток возвратиться в театр, на произведения Михаила Булгакова в общей сложности было опубликовано двести девяносто восемь разгромных рецензий и всего три — положительные. Вот, к примеру, что писал о «Днях Турбиных» Луначарский: *«Я считаю Булгакова очень талантливым человеком, но эта его пьеса исключительно бездарна, за исключением более или менее живой сцены увоза гетмана. Все остальное либо военная суета, либо необыкновенно заурядные, туповатые, тусклые картины никому не нужной обывательщины. В конце концов, нет ни одного типа, ни одного занятого положения, а конец прямо возмущает не только своей неопределенностью, но и полной неэффектностью. Если некоторые театры говорят, что не могут ставить тех или иных революционных пьес по их драматургическому несовершенству, то я с уверенностью говорю, что ни один средний театр не принял бы этой пьесы именно ввиду ее тусклости, происходящей, вероятно, от полной драматической немоции или крайней неопытности автора».*

В списке недоброжелателей литератора числился, впрочем, не только он, но и Платон Керженцев, и даже Владимир Маяковский. Последний, что интересно, особенно яростно выступал против Булгакова, предлагая пролетариям срывать спектакли по пьесам писателя. Так и не разрешенное, неясное, кажется, и для самого Булгакова противостояние окончилось лишь самоубийством Маяковского в 1930 году.

Не отставали в желании задавить, сломать Михаила Афанасьевича и представители властных структур, журналисты, видные деятели культуры. Удалось ли им это? Если только отчасти — внешне до самого конца Булгаков сохранил удивительное достоинство, даже спокойствие, оставляя мучительные размышления, рефлексию, тоску одному себе. Так, появившись однажды на общественном диспуте в одном из московских театров, где от писателя ждали уж если не раскаяния, так смирения, автор «Белой гвардии» даже публично ответил одному из самых ярких своих обидчиков. Александр Орлинский, журналист, в своей рецензии писал, что пьеса «Дни Турбиных» — *«политическая демонстрация, в которой автор симпатизирует отбросам Белой гвардии»*, и точно так же, как и знаменитый поэт, призывал бойкотировать спектакли. Тогда, помня все враждебные высказывания, Михаил Булгаков взошел на сцену. Зал замер, предчувствуя скандал. Но... *«Покорнейше благодарю за доставленное удовольствие. Я пришел сюда только затем, чтобы посмотреть, что это за товарищ Орлинский, который с таким прилежанием занимается моей скромной особой и с такой злобой травит меня на протяжении многих месяцев. Наконец я увидел живого Орлинского. Я удовлетворен. Благодарю вас. Честь имею»*. Вот и все, что произнес писатель, оставив удивленную, раздосадованную таким спокойствием публику.

Успех и травля в судьбе Булгакова шли бок о бок с самой премьеры вплоть до 1929-го года. Занимательно и грустно одновременно, что споры о «Днях Турбиных» были до того ожесточенными, что никому из критиков или журналистов даже не пришло в голову зафиксировать спектакль на бумаге. Так что нашим современникам остается довольствоваться лишь краткими описаниями мизансцен времен подготовки спектакля к выпуску и многочисленными черновиками инсценировки. В 1929 году спектакль был запрещен к показу. И не только он. В октябре 1926-го Театр Вахтангова поставил пьесу Булгакова «Зойкина квартира», в 1928-м Московский камерный театр выпустил «Багровый остров» — едкую сатиру на Главрепертком, выполнявший в те годы роль советской театральной цензуры. Под запретом оказались и эти спектакли...

Но пока, пока еще ничего этого Михаил Булгаков не знает. Пока счастье, почти детский, тихий, какой-то *киевский* восторг переполняют его, будто мальчишку, впервые увидавшего воздушного змея. Следовало бы нам и оставить его здесь, в 5 октября 1926 года. Оглушенного овациями, так коротко, но так ярко счастливого, на пороге казавшейся тогда головокружительной карьеры в пространстве любимого театра. Или еще раньше — в Киеве, в родном доме, где так славно было посидеть за обеденным столом с семьей, пока за окнами на Андреевский спуск мягко наплывали вечерние сумерки. Там, где виделась юному Мише будущая прекрасная полноводная жизнь, полная восхитительных событий, полная умопомрачительным запахом цветущего весной каштана. Где еще так цветут каштаны, скажите мне, если не в Киеве? Городе мощеных улиц, охровых закатов и витых решеток. Городе, наивно распахивающем свои объятия каждому страждущему и вечно платящему за это самую высокую цену. Да, стоило бы нам оставить его здесь. Но жизнь катилась, неслась, как потерявший управление поезд, навстречу новому, подминая под себя без всякой жалости всех несогласных.

Оттого, видимо, особой болью теперь отзывается в нас нынешних и события, и место действия «Дней Турбиных», которое в наши дни по несчастливой случайности точно так же трагически у всех на слуху. Тоскливым рефреном все чаще среди московской и петербургской интеллигенции — художников, режиссеров, писателей, артистов, да и других мало связанных с искусством людей — звучит обреченное, полное сомнений и будущей тоски по Родине слово «эмиграция». Печальная вереница современных Голубковых и Корзухиных тянется к трапу самолета; растерянная, уставшая от этой своей растерянности, горстка Турбиных машет им вслед. И у тех и у других будущее неопределенно.

Как говорилось в одном стихотворении современной поэтессы Елены Исаевой:

Сжаться, воздуха лишаясь,
И запомнить наизусть:
— Уезжаю. — Уезжаешь.
Не вернешься. — Не вернусь.

Знал ли Булгаков, завершая свою «Белую гвардию», как отзовется она в нас сегодняшних? Развязывая концы и начала, автор предлагал человечеству в финале романа обратить свой взгляд на звезды и с этой более высокой точки зрения понять бессмысленность вражды и ненависти. *«Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»*

Но людям было (и, совершенно очевидно, остается до сей поры) не то что не до поиска ответа — они не удосужились даже прочесть, услышать вопроса. Он завис в воздухе, отчаянный, страшный, абсолютно бессмысленный до той поры, пока человек не оторвет зачарованного взгляда от творящихся ежедневно, ежечасно на всей земле разрушений и кровавой жестокости, и не ужаснется тому, что делается это все его руками.

* * *

Булгакову так и не удалось более поговорить со Сталиным. Зимой 1931 года он вновь написал — на сей раз лично вождю — письмо, теперь уже с почти мольбой о диалоге: *«...Хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти»*. Было в этой записке затаенное отчаяние человека, который предугадал свою судьбу, но отчего-то все еще не может с ней смириться.

Послание осталось без ответа.

Однако возвратились на сцену «Дни Турбиных». Впрочем, на этом все. Булгакову оставалось довольствоваться должностью ассистента в театре, где так блестяще, но так трагически коротко развивалась его драматургическая карьера.

Режиссер-ассистент — что значит составлять расписание для артистов, контролировать репетиционный процесс и заниматься прочими, вне всякого сомнения, восхитительными вещами, но для человека, видевшего свою жизнь связанной исключительно с писательством? Унижение? Затаенная тоска? Бесконечная рефлексия? Ответы на эти вопросы навряд ли удастся найти нам, потомкам, остается только догадываться. До 1925 года Михаил Афанасьевич прилежно вел дневники, однако сотрудники ОГПУ изъяли у писателя тетради с личными записями. Позже дневники были возвращены владельцу с требованием немедленно уничтожить их и более никогда не вести. Редкие, обрывочные умозаключения встречались еще в письмах сестре, впрочем, без особенной конкретики: *«Что будет? Ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его [роман «Мастер и Маргарита»] в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего»*.

В 1934-м Булгакова вновь посещает мысль об отъезде. На сей раз он, кажется, был настроен серьезно. Вместе с супругой они даже прибыли в иностранный отдел горисполкома заполнить анкеты на выезд. Им никто, казалось, не препятствовал. Через несколько дней Булгаковым позволили: «Паспорта готовы, приезжайте завтра». Однако ни завтра, ни послезавтра, ни спустя несколько недель изнурительного ожидания документы так и не были возвращены писателю. А еще через краткий промежуток времени Михаил Афанасьевич получил категоричный отказ. Пытаться еще раз казалось бессмысленной затеей.

В 1939 году писатель взялся за пьесу «Батум» — о молодости Сталина. Так и не давал ему покоя этот человек — видно, Булгаков, как в случае и с прочей политикой, так и не сумел до конца выбрать определенную позицию. И осуждать его за это — невозможно. В конце концов, истинный человек искусства всегда остается сторонним наблюдателем. Фиксатором, если хотите, живой истории.

Пьеса была принята к постановке МХАТом, но уже спустя недолгое время, на пути в Грузию, где Михаил Афана-

сьевич планировал собирать материалы для будущего спектакля — прообразы декораций, народные песни и прочее, его догнала телеграмма: постановка отменяется.

Вскоре здоровье классика резко ухудшилось. Развивалась почечная недостаточность. Стремительно наступала слепота — будто бы тело великого писателя отказывалось отныне не только принимать реальность, но и видеть ее. Днем 10 марта 1940 года, на 49-м году жизни Булгаков умер.

Когда гроб с телом Булгакова проносили по Камергерскому переулку, артисты Московского художественного театра вышли из дверей, одни — чтобы проститься с великим литератором, другие — просто взглянуть. А Булгаков плыл, плыл в своем траурном корабле по московским улицам, мимо театра, который оставил на его душе такую незаживающую, но все-таки сладостную рану, и уплывал все дальше — в небытие, прочь из страны, без которой себя не мыслил и из которой так пытался вырваться, и лицо его было покойно.

«Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов: "...слезу с очей их, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло"».

Саша Филбар

САША ФИЛБАР Автор журнала «Эксмо», сценарист, редактор. Родилась в 1991 году в Москве, окончила РАТИ-ГИТИС, по специальности «театровед», Sorbonne Nouvelle-Paris III, факультет теории театра, Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) при Союзе кинематографистов.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

*Посвящается
Любови Евгеньевне Белозерской*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!

«Капитанская дочка»

И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...

1

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?

Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.

Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец

Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.

Алексей, Елена, Тальберг, и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный Старик Бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?

Улетающий в черное, потрескавшееся небо Бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.

Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх...

Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырьчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что,

если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжелое время живительный и жаркий.

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, лежащим на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовою, Капитанскою Дочкою, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, — все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:

— Дружно... живите.

Но как жить? Как же жить?

Алексею Васильевичу Турбину, старшему, — молодому врачу — двадцать восемь лет. Елене — двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу, — тридцать один, а Николке — семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воеет и воеет выюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.

Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:

— Живите.

А им придется мучиться и умирать.

Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:

— Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...

Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинета, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.

— Что сделаешь, что сделаешь, — конфузливо забормotal священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) — Воля Божья.

— Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? — неизвестно у кого спросил Турбин.

Священник шевельнулся в кресле.

— Тяжкое, тяжкое время, что говорить, — пробормotal он, — но унывать-то не следует...

Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.

— Уныния допускать нельзя, — конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. — Большой грех — уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, — он говорил все увереннее. — Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше всего богословские...

Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:

— «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь».

Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.

Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу — первый, во двор под верандой Турбиных — подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем — сильно и весело загорелись турбинские окна.

В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.

— Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытаскивали, смотри.

Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.

— Вот бы подстрелить чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю — это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.

— А ну их... Идем. Бери.

Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саарда нельзя было притронуться.

Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:

«Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь. Союзники — сволочи.

Он сочувствует большевикам».

Рисунок: рожа Момуса.

Подпись:

«Улан Леонид Юрьевич».

«Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!»

Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папе с синим хвостом.

Подпись:

«Бей Петлюру!»

Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства — Мышлаевского, Карася, Шервинского — красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:

«Елена Васильна любит нас сильно.
Кому — на, а кому — не».

«Леночка, я взял билет на Аиду.
Бельэтаж № 8, правая сторона».
«1918 года, мая 12 дня я влюбился».

«Вы толстый и некрасивый».

«После таких слов я застрелюсь».
(Нарисован весьма похожий «браунинг».)
«Да здравствует Россия!
Да здравствует самодержавие!»

«Июнь. Баркарола».

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.

Печатными буквами, рукою Николки:

«Я ТАКИ ПРИКАЗЫВАЮ ПОСТОРОННИХ ВЕЩЕЙ
НА ПЕЧКЕ НЕ ПИСАТЬ ПОД УГРОЗОЙ РАССТРЕ-
ЛА ВСЯКОГО ТОВАРИЩА С ЛИШЕНИЕМ ПРАВ.
КОМИССАР ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА. ДАМСКИЙ,
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ПОРТНОЙ АБРАМ ПРУ-
ЖИНЕР.

1918 года, 30-го января».

Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе — в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, — столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень... Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо...

На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроугольный трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день ввиду начинающихся событий.)

Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.

Старший бросает книгу, тянется.

— А ну-ка, сыграй «Съемки»...

Трень-та-там... Трень-та-там...

Сапоги фасонные,
Бескозырки тонные,
То юнкера-инженеры идут!

Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах — жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.

Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы...

Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут — ать, ать! Николкины глаза вспоминают:

Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.

Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор...

Здравствуйте, дачницы,
Здравствуйте, дачники,
Съемки у нас давно уж начались.

Туманятся Николкины глаза.

Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.

Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показала ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.

Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.

— Погодите. Слышите?

Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились — пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у... Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.

В гостиной-приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество» — снег и огонечки. Дрожат и мерцают.

Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах — напряженнейший слух. Где? Пожал унтер-офицерскими плечами.

— Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошином стреляют. Странно, не может быть так близко.

Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, 12 верст от города, не дальше. Что за штука?

Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.

— Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...

— Ну да, тебя там не хватало...

Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли — самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.

В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе, голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу — коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы — приношение верного Елениного по-

клонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх... эх...

На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем, как у Момуса.

В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.

Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, чего-нибудь с ним?.. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «...мрак, океан, вьюгу».

Не читает Елена.

Николка наконец не выдерживает:

— Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть...

Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и — тонк-танк — идет к четверти одиннадцатого.

— Потому стреляют, что немцы — мерзавцы, — неожиданно бурчит старший.

Елена поднимает голову на часы и спрашивает:

— Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? — Голос ее тосклив.

Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.

— Ничего не известно, — говорит Николка и обкусывает ломтик.

— Это я так сказал, гм... предположительно. Слухи.

— Нет, не слухи, — упрямо отвечает Елена, — это не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Боромянки вернули два немецких полка.

— Чепуха.

— Подумай сама, — начинает старший, — мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе как бандит.

Смешно.

— Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.

— Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.

— Так, по-вашему, Петлюра не войдет?

— Гм... По-моему, этого не может быть.

— Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.

— Но, боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и...

— И что? Ну что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.

— Почему же его нет?

— Господи боже мой. Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.

— Революционная езда. Час едешь — два стоишь.

Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:

— Господи, господа! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали...

Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на

поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ — вот он. Пожалуйста:

Союзники — сволочи.

Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили — раз, и тотчас же часам ответил залиvistый, тонкий звон под потолком в передней.

— Слава богу, вот и Сергей, — радостно сказал старший.

— Это Тальберг, — подтвердил Николка и побежал отворять.

Елена порозовела, встала.

Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.

— Здравствуйте, — пропела фигура хриплым тенором и заковеневшими пальцами ухватила за башлык.

— Витя!

Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном — блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приspущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фан-

тазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.

— Откуда ты?

— Откуда?

— Осторожнее, — слабо ответил Мышлаевский, — не разбей. Там бутылка водки.

Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый «маузер» в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:

— Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.

— Ах, боже мой, конечно.

Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.

— Ну, конечно... Полно. Кишат.

— Вот что, — испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту. — Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.

В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забежала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.

— Легче... Ох, легче...

Размотались мерзкие, пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду — пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.

Слух... грозн...

Наст... Банд...

Влюбился... мая...

— Что ж это за подлецы! — закричал Турбин. — Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?

— Ва-аленки, — плача, передразнил Мышлаевский, — вален...

Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:

— Кабак!

Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал:

— Снимите, снимите, снимите...

Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.

— Неужели же отрезать придется? Господи... — Он горько закачался в кресле.

— Ну, что ты, погоди. Ничего... Так. Приморозил большой. Так... отойдет. И этот отойдет.

Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру, и немцев, и метель и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.

Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».

— Гетман, а? Твою мать! — рычал Мышлаевский. — Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были.

А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал — пропадем все... К матери! На сто саженой офицер от офицера — это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!

— Постой, — ошалева от брани, спрашивал Турбин, — ты скажи, кто там, под Трактиром?

— Ат! — Мышлаевский махнул рукой. — Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Сорок человек. Приезжает эта лахудра — полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекошил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля — переходите в наступление, с нами Бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь...» (Мышлаевский заговорил своим обычным голосом) — и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж...! Мороз. Иголками берет.

— Да кто же там, господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?

— А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены... Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах, Трактир — верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется — ползут... Ну, думаю, что будем делать?.. Что? Вскинешь винтовку, думаешь — стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь — в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь — каюк. И под утро не вытерпел, чувствую — начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, верстах в трех поехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и от-

ходить на Город. Перебьют — перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И, вообрази, — стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты — в папах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.

— А! Наш, наш! — вскричал Николка.

— Погоди-ка, он не белградский гусар? — спросил Турбин.

— Да, да, гусар... Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»

Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, утром вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связка с Постом-Волынским, — дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то к чертям.

— Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.

— А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские! у-у... вашу мать!

— Господи боже мой!

— Да-с, — хрипел Мышлаевский, насасывая папиросу, — сменились мы, слава те господи. Считаем: тридцать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать...

— Как! Насмерть?

— А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла — ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази — глянул на нас и об-

радовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики... хлопчики...» Говорю ему таким сдобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел... Мороз... Остервенился... Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегашь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство) прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвальни.

Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается — уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное — мертвых некуда деть! Нашли наконец перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, боже мой. Ну конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. П-полный от-

дых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать — жертвы. Я так измучился...» И коньяком от него на версту. А-а-а! — Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:

— Дали отряду теплушку и печку... О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в Город. В штаб генерала Каргузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз... околел... замок Тамары... водка...

Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.

— Вот так здорово, — сказал растерянный Николка.

— Где Елена? — озабоченно спросил старший. — Нужно будет ему простыню дать, тыvedi его мыться.

Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...

И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.

Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана Генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...

Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот

поглубже — ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка — академии и университета — белыми голловками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказала тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородинки, в сорока верстах от Города, напали — неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.

— Кто ж такие? Петлюра?

— Ну, если бы Петлюра, — снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, — вряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки», — они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский, — Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: — Елена, пойдем-ка на пару слов...

Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот.

Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же

старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.

Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:

— Елена, никак иначе поступить нельзя.

Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:

— Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?

Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...

И Тальберг сказал:

— Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи...

...Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу, и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысёй побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут.

Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан пашкой.

На дальнем пути Города-I, Пассажирского, уже стоит поезд — еще без паровоза, как гусеница без головы.

В составе девять вагонов с ослепительно-белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи... Гетманское министерство — это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что...

— Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли...

О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, — поймите, первый, — кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать.

Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, — авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:

«Игнатий Перпило — Украинская грамматика».

В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук — шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», — выбирали «гетьмана вся Украины».

— Мы отгорожены от кровавой московской оперетки, — говорил Тальберг и блеснул в странной гетманской форме дома, на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте...» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки,

и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.

Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в Средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести от Города, на путях, освещенных белым светом, — салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

«Петлюра — авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...»

— Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?

Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.

— Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон... Фон Бусов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне

ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть — значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее — в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.

Елена очнулась.

— Постой, — сказала она, — ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предадут?

Тальберг густо покраснел.

— Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.

Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру «Фауста» там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:

Я за сестру тебя молю,
Сжался, о, сжался ты над ней!
Ты охраняй ее.

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Эх, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцвет-

ный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», — совершенно бессмертен.

Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.

— Вы же Елену берегите, — глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: — Пора.

Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзень... дзень... в передней свет сверху, потом на лестнице гроыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.

В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пуль-

маны, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.

— У... с-с-волочь!.. — провыло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.

А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.

— О, ја, — тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.

Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотанье, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж.д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.

3

В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скудость супруги инженера, Ванды Михайловны. Проклинаямая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спальни прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был

человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса... То есть сам-то он называл себя — Лисович, многие люди, с которыми он сталкивался, называли его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза же, в третьем лице, никто не называл инженера иначе как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас. Лис.».

Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровавых пятен и на вопль Елены:

— Господи! Что же это такое?! — ответил:

— Это Василисин сахар, черт бы его взял! — и после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь сам владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.

Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей

в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то, над верхним рядом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок, подsunул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу — тонкую цинковую пластинку — отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет Божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полосы, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетика к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.

На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы.

Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые — какая, к черту, Василиса! — это мужчина. В ящиках прозвучало нежно,

и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек — зеленый игральный крап:

Знак Державної скарбниці
50 карбованців
ходить нарівні з кредитовими білетами.

На крапе — селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатой, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червячками усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:

За фальшування карається тюрмою.

Уверенная подпись:

Директор державної скарбниці
Лебідь-Юрчик.

Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебідь-Юрчика и ласково — на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее — предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестя корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон. Уют. Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «николаев первых», 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и два Станислава.

В тайнике № 2 — 20 «катеринок», 10 «петров», 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), 50 золотых десятков, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящи-

ках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).

Третий тайник — чердак: две четверти от трубы на северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, 183 золотых десятки, на 25 000 процентных бумаг.

Лебідь-Юрчик — на текущие расходы.

Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.

— Фальшування, фальшування, — злобно заворчал он, качая головой, — вот горе-то. А?

Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке — раз. В четвертом десятке — две, в шестом — две, в девятом — подряд три бумажки, несомненно, таких, за которые Лебідь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных — перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем лебидевская. Василиса глядел на свет, и Лебідь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.

— Извозчику завтра вечером одну, — разговаривал сам с собой Василиса, — все равно ехать, и, конечно, на базар.

Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру II:

— Извольте видеть: никогда покою нет...

Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот, во сне, приехал Лебідь-Юрчик верхом на коне и какие-то Тушинские Воры с отмычками

вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил Василиса, и первое, что услышал, — мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех...

За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.

— Единственное средство — отказать от квартиры, — забарахтался в простынях Василиса, — это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя.

Идут и поют юнкера
Гвардейской школы!

— Хотя, впрочем, на случай чего... Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого ещепустишь, неизвестно, а тут офицеры, в случае чего — защита-то и есть. Брысь! — крикнул Василиса на яростную мышь.

Гитара... гитара... гитара...

Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, чай...

На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:

Голым профилем на ежа не сядешь!

— Вот веселая сволочь... А пушки-то стихли. А-страумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там! — Гитара.

Арбуз не стоит печь на мыле,
Американцы победили.

Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся.
Он пьян.

Игривы Брейтмана остроты,
И где же сенегальцев роты?

— Где же? В самом деле? Где же? — добивался мутный Мышлаевский.

Рожают овцы под брезентом,
Родзянко будет президентом.

— Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!

Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном — Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах — стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой — Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же, по александровской гимназической кличке, — Карась.

Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток — четыре бутылки белого вина, у Карася — две бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги, — само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же, у подъезда, сообщил новость: на погонах у него золотые

пушки, — терпенья больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если Петлюра приползет в город — тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир — полковник Малышев, дивизион замечательный, так и называется — студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под городом...

Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху!! Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ур-ра! Все здесь. Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький улан сразу почувствовал, что он, как никогда, в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков, пел Шервинский эпиталаму богу Гименею, и как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, эта дурацкая война, большевики, и Петлюра, и долг, но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи, вы знаете, какие у него связи — о-го-го... и на сцену. Петь он будет в La Scala и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел эпиталаму, то вместо fa взял la и держал его пять тактов. Сказав — пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.

— Тэк-с, пять. Ну ладно, идемте ужинать. И вот знамена, дым...

— И где же сенегальцев роты? Отвечай, штабной, отвечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Прoberется на Дон и приедет сюда с деникинской армией.

— Будут! — звякнул Шервинский. — Будут. Позвольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее через два дня, в Город придут два сербских полка.

— Слушай, это верно?

Шервинский стал бурым.

— Гм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.

— Два полка-а... что два полка...

— Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать. Сам князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю — и нам на немцев наплевать.

— Предатели!

— Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить! Вот повесить!

— Своими руками застрелю.

— Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры!

Раз — и окончательный туман! Туман, господа. Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в передней (когда никто не видит, можно быть самим собой) припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно — красивая и дорогая. Мрачный «маузер» на ремнях в кобуре, Карасев Стейер — вороненое дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный «маузеров» нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за Постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко... Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, выюга, замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружина еще не готова, студенты не обуче-

ны, а сингалезов все нет и нет, вероятно, они, как сапоги, черные... Но ведь они же здесь померзнут, к свиным? Они ведь привыкли к жаркому климату?

— Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!

— Панику сеешь, — сказал хладнокровно Карась.

Турбин обозлился.

— Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Во все не панику, а я хочу вылить все, что у меня накопело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело! Не панику. — Кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине.

— Правильно! — скрепил Карась, стукнув по столу. — К черту рядовым — устройм врачом.

— Завтра полезем все вместе, — бормотал пьяный Мышлаевский, — все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура!

— Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, — ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицкого, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий... Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Николка с треском захохотал и сказал:

— Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть...

— Мобилизация, — ядовито продолжал Турбин, — жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки — просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет — дело швах! О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля-месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и какую армию. Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все пошли бы с дороною душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.

Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.

— Ты... ты... тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право, — заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.

— Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, — сказал Николка.

— Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк, — ответил ему Турбин, — пей-ка лучше вино.

— Ты пойми, — заговорил Карась, — что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.

— Неправда! — тоненько выкликнул Турбин. — Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было

бы столкнуться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас — Троицкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб? — берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше, мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру... к-х... — Турбин яростно закашлялся.

— Стой! — Шервинский встал. — Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей, — пусть!

— Пять процентов, а девяносто пять — русских!..

— Верно. Но они сыграли бы роль э... э... вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь: русская армия, и никаких гвоздей. Не угодно ли? — Шервинский торжественно указал куда-то рукой. — На Владимирской улице уже развеваются трехцветные флаги.

— Опоздали с флагами!

— Гм, да. Это верно. Несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима.

— Дай бог, искренне желаю, — и Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу.

— План же был таков, — звучно и торжественно выговорил Шервинский, — когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича.

После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел.

— Император убит, — прошептал он.

— Какого Николая Александровича? — спросил ошеломленный Турбин, а Мышлаевский, качнувшись, искося глянул в стакан к соседу. Ясно: крепился, крепился и вот напился, как зонтик.

Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на улана.

Но Шервинский не был особенно пьян, он поднял руку и сказал мощно:

— Не спешите, а слушайте. Н-но, прошу господ офицеров (Николка покраснел и побледнел) молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?

— Никакого понятия не имеем, — с интересом сообщил Карась.

— Ну-с, а мне известно.

— Тю! Ему все известно, — удивился Мышлаевский. — Ты ж не ездил...

— Господа! Дайте же ему сказать.

— После того, как император Вильгельм милостию поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России — в Москву», — и прослезился.

Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.

— Слушай... это легенда, — болезненно сморщившись, сказал Турбин. — Я уже слышал эту историю.

— Убиты все, — сказал Мышлаевский, — и государь, и государыня, и наследник.

Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуха и молвил:

— Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества...

— Несколько преувеличено, — спьяна сострил Мышлаевский.

Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.

— Витя, тебе стыдно. Ты офицер.

Мышлаевский нырнул в туман.

— ...вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера... то есть, виноват, гувернера наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его... э... в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.

— Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? — начал Карась.

— Они оба в гостях в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.

Николкина душа стонала, полная смятения. Ему хотелось верить.

— Если это так, — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, — я предлагаю тост: здоровье его императорского величества! — Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.

— Пусть! Пусть! Пусть даже убит! — надломленно и хрипло крикнула она. — Все равно. Я пью. Я пью.

— Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! — Турбин крикнул и поднял стакан.

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! — трижды в грохоте пронеслось по столовой.

Василиса вскочил вниз в холодном поту. Со сна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну.

— Боже мой... бо... бо... — бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку.

— Что же это такое? Три часа ночи! — завопил, плача, Василиса, адресуясь к черному потолку. — Я жаловаться наконец буду!

Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:

...си-ильный, де-ержавный,
царrr-ствуй на славу...

Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормotal:

— Нет... они, того, душевнобольные... Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебашь. Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице слышно!!

Но Ванда уже свалилась как камень и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваниях.

— На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная! — покачиваясь, кричал Мышлаевский.

— Верно!

— Я... был на «Павле Первом»... неделю тому назад... — заплетаясь, бормотал Мышлаевский, — и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верр-но!» — и что ж вы думаете, кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»

— Жи-ды, — мрачно крикнул опьяневший Карась.

Туман. Туман. Туман. Тонк-танк... тонк-танк... Уже водку пить немислимо, уже вино пить немислимо, идет

в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжело рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского.

— А-а...

Тот наконец со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.

— Ни-кол-ка, — прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. — Ни-кол-ка! — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже-е, боже-е, как тошно и противно. Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином». — Никол...

— А-а, — хрипел Мышлаевский, оседая к полу.

Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.

— Никол... помоги, бери его. Бери так, под руку.

— Ц...ц...ц... Эх, эх, — жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке, висела убитая голова. Тонк-танк. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.

— Так. Клади его.

— Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут. Проклятые черти. Пить не умеете. Витька! Витька! Что с тобой? Вить...

— Брось. Не поможет. Николушка, слушай. В кабинете у меня... на полке, склянка, написано *Liquor ammonii*, а угол оборван, к чертям, видишь ли... нашатырным спиртом пахнет.

— Сейчас... сейчас... Эх-эх.

— И ты, доктор, хорош...

— Ну, ладно, ладно.

— Что? Пульса нету?

— Нет, вздор, отойдет.

— Таз! Таз!

— Таз извольте.

— А-а-а...

— Эх, вы!

Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка под-держивал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.

— А... хрр... у-ух... Тьф... фэ...

— Снегу, снегу.

— Господи боже мой. Ведь это нужно ж так...

Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с победенным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:

— Ах... пусти...

— Тэк-с, ну ладно, пусть здесь и спит.

Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготавливая постели.

— Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки.

— Слушаюсь.

Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.

— Не затрудняйтесь... я сам.

— Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.

— Позвольте ручку поцеловать...

— По какому поводу?

— В благодарность за хлопоты.

— Обойдется пока... Николка, ты у себя на кровати. Ну, как он?

— Ничего, отошел, проспится.

Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора — книжная.

И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук, и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал, быстро и странно, в один последний год, и сборки ссеклись и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую, вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и вся черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо, сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный, бодрый храп Шервинского. Из книжной молчание мертвенного Мышлаевского и Карся. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то вполголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом, и с черными двумя пятнами окон.

— Уехал...

Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал, и в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал... Ведь это же к лучшему...

— Но в такую минуту... — бормотала Елена и глубоко вздохнула.

— Что за такой человек? — Как будто бы она его любила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты, у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, ни все время — полтора года, — что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивой, рыжей, золотой Еленой и Генерального штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный, без детей. Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же это такого нет главного, без чего пуста моя душа?

— Знаю я, знаю, — сама сказала себе Елена, — уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения, — значительно сказала она красному капору и подняла палец. И, сама ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя позвол-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно — ненавидят. Николка, тот еще добрее, а вот старший... Хотя нет. Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут... Он там останется, я здесь...

— Мой муж, — сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. — Мой муж...

Капор с интересом слушал, и щеки его осветились жирным красным светом. Спрашивал:

— А что за человек твой муж?

— Мерзавец он. Больше ничего! — сам себе сказал Турбин, в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. — Мерзавец, а я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А, черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что ни говорит, говорит как бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России...

Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же:

«Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя...»

Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:

— Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя.

— Ах ты! — вскричал во сне Турбин. — Г-гадина, да я тебя. — Турбин во сне полез в ящик стола доставать «браунинг», сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.

Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться Город.

Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники — мех серебристый и черный — делали женские лица загадочными и красивыми.

Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами.

Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал вечный Царский сад. Старые, сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, замеченные выюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, выющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнейшее море.

Зимою, как ни в одном городе мира, упал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь

каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился, и танцевал, и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом.

Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводах и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой — высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва.

И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.

Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных по-